

ДВА СПОСОБА НАВСЕГДА ПОКИНУТЬ ТУЛУ

Вот что помню из дошкольного детства: стою перед зеркалом и цокаю, качаю головой. Категорически не подходит мне это лицо, это тело, синяя стенка за спиной и весь мой город Тула. Плюю в себя и наблюдаю, как отражение плачет.

Я любил смотреть на холодильник и выбирать себе другую родину. Ведь мог бы появиться там, откуда новая открытка. Читать на чужом языке не умел, но сложить буквы мог. Toulouse. Тоу-лоу-се. Надпись белая, на фоне серой мостовой, а по бокам красные домики. Родился бы я в Тоу-лоу-се, шел бы сейчас и улыбался. Шел бы на почту, потому что тоже вступил бы в открыточный клуб, как мама, и рассылал бы по пяти адресам, в мир, виды своей милой красно-кирпичной улицы. И получил бы от мамы почтой кусок картона с тульским кремлем. Но табуретка подо мной ехидно скрипела, окно выходило на трехэтажки с трещинами на лице, гудели троллейбусы. Все выдавало другой родной город.

Мама не любила очереди, но ходила на почту, потому что там получала эти открытки, и почтальонша на выдаче смотрела на нее завистливо, и маме это нравилось, она часто про этот взгляд рассказывала мне и подругам из театра. Приходила с почты домой, цепляла под магнит следующую открытку и шептала: вот уеду и брошу тебя, театр, Тулу.

Голова росла очень быстро. Дед, который приезжал из Москвы раз в год, спичкой протыкал картофелину, переворачивал и показывал бабушке: смотри, это Димка.

Какой уж там Димка. Димке в Туле было бы нормалек. Димка бы что? Дружил бы с Мишкой, читал бы книжки, из школы в институт.

Женился бы этот Димка на Анисимовой. Целовал бы ее каждый день. И все бы шептались. Была бы любовь. Боли бы не было.

И работал бы он военным. Ездил по заграницам и следил бы. Саботаж. Разведка. Спецназ. Приемы. Стрелять так стрелять. Шрам на груди. Зубы стискивал бы. Анисимова бы плакала и плакала, а мама жила бы с ними, и в какой-то момент он бы все — отслужил бы и жил уже просто так.

Потом бы дети: Лёнька? Лёля? Леся? Стася? Кеша? Яша? Зарывались бы в имена, ревели бы от счастья, ровно до тех пор пока. Ну пока. И вот сказали бы на похоронах — вот! Вот был Димка! Вот был! Вот! Димка. Эх.

Но я был Диомид. Если найти в тульской библиотеке скучный научный журнал про имена, а там

статью «Самые нелепые тульские имена, которые претендуют быть включенными в список самых нелепых имен России», то в этом списке было бы только мое имя. Я не знаю, кто мне его дал. И за что. Я спрашивал несколько раз у мамы, у бабушки, у дедушки, и никто из них не отвечал мне прямо. Они постоянно использовали какую-то чертовщину вроде «так было нужно», «у матери своей спроси» и — самое поганое — «надо отца твоего расспросить на этот счет».

Отец с нами не жил, а я его и не знал. Мама работала в местном театре кукол режиссером. Если загуглите, как выглядит фасад этого заведения (ни в коем случае не приезжайте, используйте гугл, правда, так будет лучше), то найдете много общего с матерью. Гулька волос на голове, высокий лоб, глаза-окна распахнутые, и между ними широкий нос, как большая дверь. И рот такой маленький, что притаился щелью под парадным входом.

Если на спектакли пускали по билетам, то к нам домой — по знакомству. Артисты — они же как братья. Всегда вместе, и все друг друга ненавидят, завидуют и желают друг другу смерти. А чтобы брат побыстрее сдох, надо с ним пить. Верный способ. Наша квартира была ближе всех к театру. Я ворочался в темноте под дым и гомон. Под «ты чё, ты чё, уже в хлам? Руки убери!». Под «Хам! Ха-ха-ха!». Заснуть помогали вопросыки.

Я вообще где? В Туле, на ул — точка — Советская. Я вообще кто? Я Диомид, который не даст маме уехать из Тулы и бросить меня и театр. Как я это сделаю? Буду ее от всего защищать. И что? Она поймет, что со мной

в безопасности. И? Не уедет. Она пахла духами, сигаретами и, кажется, вином. Каким-то каберне: я хорошо различал, как пахнет алкоголь. Вино пахло по-разному, и дело не в цвете или словах на этикетке. Вечером этот запах похож на букетик полевых цветов, который уронили в речку и достали через день. Вот так и тянуло от мамы. А еще был страшный утренний запах: сырая холодная земля, резкая ржавчина труб, гнилое дерево. Таким я его запомнил. Запомнил, когда вот что случилось.

Холодно, зима. Январь? Нет, кажется, февраль. Пахнет гарью, где-то всё еще топят дома дровами, печи думают дымом, дует ветер. Я выхожу из дома, дома я был один. Проснулся, а мамы нет. Наверное, вызвали в театр, бывает.

Я иду в школу, я уже самостоятельней некуда, мне сколько? Мне двенадцать, в боку колет, дорога посыпана солью, заворачиваю, стена нашего дома теплая. Поднимаю глаза и чувствую запах утреннего вина, и вижу свою маму. Она в одном халате, под глазами темная синь, она босая, она идет по снегу, а он скрипит, а она бормочет, смеется, скидывает руки. Мне так страшно, что я давлю себя в стену, спиной хочу проломить ее и оказаться в чьей-то квартире, только не здесь. Откуда она, что с ней случилось, как же так с ней случилось, кто с ней случился, на ул — точка — какой все случилось, в театре ли, в Туле, где и что произошло, мама? Я закрываю глаза, сжимаю их, давлю веки в щеки. Ведь обычно я просыпаюсь дома и мама всегда спит за дверью своей спальни, не всегда одна, но всегда спит, она всегда есть там, за дверью, дома, в квартире, а сегодня — как так,

как же, проснулся, и никого нет. Распахиваю глаза, рот и вдыхаю, будто вынырнул.

Мама проходит мимо, словно у меня получилось стать невидимкой. Ее глаза смотрят сквозь предметы. Она продолжает махать руками, считать что-то на пальцах и говорить, говорить, говорить. Говорит она звуками, на другом языке, я его никогда не слышал. Она поворачивает за угол, я больше ее не вижу, не слышу. Отдышаться — и в школу. Прочь, бежать, в школу, не оглядываться. Остается только утреннее вино в воздухе. Я сижу за партой и нюхаю свои подмышки. Свои рукава. Пытаюсь понюхать волосы. Мне все пахнет землей.

Когда вернулся домой после уроков, мама спала. Вечером встала, выпила кофе, посмотрела на свои открытки. Смотрела только на них. Гуляла глазами. Спросила у меня про оценки. И я понял, что мне просто привиделось. Не было ничего этим утром, просто привиделось. Привидение — привиделось. Как-то так настоящие взрослые называют моменты, которые не хотят вспоминать.

Я решаю найти отца, чтобы помочь маме. Я решаю, что она не должна больше пахнуть вином. Никогда. Звоню деду в Москву: кто мой отец? Дед начинает рассказывать про рыбалку, про свою военную службу, про квартиру, в которой мы живем. Я настаиваю. Дед толком не знает. Говорит его имя. Фамилию. Дальше сам. Конечно сам. Это вовсе и не сложно.

Отчество у меня, оказывается, не Дмитриевич. Отчество у меня, оказывается, Диомидович. Социальная

сеть выплюнула его страницу: журналист, работал на радио, записывал гениальные рецензии на спектакли местных театров. Был старше мамы на десять лет. Был морщинистым, как будто лицо каждую ночь держал в теплой воде. Был был был был был. Потому что умер. Люди выкладывали на его виртуальную стену глупые картинки со слезливыми надписями. Я и не думал, что пластиковые кладбищенские венки существуют в онлайн. Умер он за два дня до того, как мне привиделась мама на улице.

На кладбище у его могилы сидели странные. Как по мне, так взрослые, за двадцать. Одежда — будто сделанная из пластмассовых венков, вся какая-то чересчур яркая. Два парня и девушка. Худые, так что страха не нагоняли. Попугаев бояться не принято, тем более в Туле.

Здравствуй, мальчик, я Сергей.

Здравствуй, парень, я Олег.

Здравствуй, милый, а я Маша.

А я кто? Понятно, кто. Диомид, говорю.

Олег хмыкнул. Сергей громко охнул. А Маша — она как покрышка, которую пробивает гвоздь. Она сделала аффф. Вот хоть убейте, не помню, как они выглядели по отдельности. Только вместе. Пятно, краски, малевать, неон, ультрафиолет. Говорили они тоже вместе — слово одного крючком тасило фразу другого.

— Стало быть, мы тут, милый, выпиваем, отмечаем, мальчик. Парень, а нам есть что отметить. Отец, говоришь, которого, говоришь, не знал? Как это не знал? А зачем пришел? А почему искал? Милый, он же знаешь как нас расчихвости́л? Грязью полил своим голосом. Разом нас уничтожил, а у нас театр был, рождался

театр, и с первой же постановки втоптать вот так вот... За что, парень, милый, мальчик, за что же он так? Выручи, дай закурить. Такой еще, а куришь. Что бы отец сказал. Спасибо.

Не за что, говорю. Пошли вон отсюда.

Помогать маме надо было быстрее. В одну из ночей она принялась жечь открытки с холодильника — прямо над кухонной плитой. Я проснулся от несигаретного дыма. Горела скатерть. Мать безуспешно поливала ее водой из чайника. Я молча сорвал клеенку со стола, побежал в свою комнату, вернулся с одеялом и кинул его поверх. Растоптал огонь. Взял маму за руку и сильно потянул, она кивнула, поплелась следом, в спальню, заснула где-то на полпути. Через два часа начала кричать. Попросила таблетку. Голова, голова, голова. В холодильнике, на полочке. Отнес, лег, дрожал. Тяжелели глаза. Перед самым сном мигнуло в голове: ни одной открытки на холодильнике, все пропали.

— Диомид, мне надо на работу, я сегодня задержусь, у нас генреп.

Я сонно кивнул. Она стояла одетой в дверях моей комнаты. В руках большая сумка.

— Взяла вещи, в детдом хочу передать, у нас там акция. Ну все, пока, милый мой.

Она поцеловала меня в лоб. Скрип-скрип по полу (обутая по квартире? мне не разрешала), бухнула дверь. Бывает такая тишина, которая знает больше, чем ты.

Я бы сейчас вышел из дома на серую мостовую, гладил бы красные дома и пел:

Бедный мальчик Диомид,
он раздавлен и разбит.
Глупый мальчик Диомид,
кому теперь он отомстит?

На работе ничего не знали. Никакой генеральной репетиции не было: «Сами ждем, когда она придет». В полиции велели перезвонить через два дня. Ночью приехали дед с бабушкой из Москвы. Через неделю сказали, чтобы я собирал вещи. Тула мне никогда не подходила.

Другое дело — где-то там, в двух часах, большая, как моя голова.

В машине вспомнил, что вчера мне исполнилось четырнадцать. Время получать паспорт.

— Дед. Я имя хочу поменять. Димкой буду. Ладно?

КРИСТИНА НИЧЕГО НЕ РАССКАЖЕТ

Бежала подслушивать по скользкой дорожке, на ходу включила фронталку, хотела селфи в новом шарфе. Ноги-ноги-ноги! Небо на экране полетело вниз. Пуховик такой мягкий, что не больно. Лежала и смеялась. Тихо, только деревья, голые черные чудища, скрипели ее имя: «Крис-ти, Крис-ти», и ветер допевал: «Н-а-а-а».

— Держи, жива твоя мобила!

Темный, бородатый, появился из ниоткуда. Знакомое лицо, сосед что ли, или из школы? Она, не вставая, взяла телефон. Как это можно — называть айфон «мобилой»? Пусть бэушный, пусть старенький, но какая же мобила, из какого он века?

— Не больно упала? Помочь?

Перевернулась на бок, встала сама. Его рука осталась протянутой. Папа Вики. Первый подъезд. Точно.

— Все нормально?

Она махнула рукой и посеменила дальше. До семи вечера у входа в кафе обычно никого, надо было успеть.

— Вежливость, девочка, никто не отменял! — крикнул ей в спину.

На бегу подумала: «Лучше бы за дочкой своей следил».

Кафе открылось на углу Дзержинского и Ленинского Комсомола, в боку розовой четырехэтажки. Четырнадцать недель назад Кристина не удержалась и выложила пост. Она, наклонив голову, смотрела в камеру своим фирменным грустным взглядом с небольшим прищуром. За спиной светились вывеска и окно с гирляндами. «Богатство надо заслужить. Дано не каждому», — написала она ниже. Дальше были лайки, хохочущий до слез комментарий от старшего брата Владика и две недели домашнего ареста от матери, потому что было нельзя:

Ходить в тот район.

Говорить, что они богатые.

Врать.

Ведь никакого богатства в их семье не было. Мама изобретала новые блюда из картошки каждый вечер. Иногда, вырывая из рук дочери телефон, криком советовала ей запостить зразы и сделать селфи с драниками, а лучше — пойти и написать доклад по биологии или химии, раз уж она собирается поступать в мед.

Но Кристина не собиралась. У нее получалось писать только песни и стихи; она часто собирала слова в голове, пока ходила по морозным дворам на Ленкомсомола. Про мать: воеет, воеет, воеет. Ноет, ноет, ноет. Сгинет, сгинет, сгинет. И — в земле — о-сты-нет! Потом

поэзия уступила место подслушанным в кафе историям.

Первую она бережно хранила в тетрадке по краеведению, сразу за Петром и Февронией. Кристина в полумраке своего убежища большими буквами написала скомканный любовный треугольник, о котором женщина по имени Маня рассказала женщине по имени Машка. Маня спала не ради того, чтобы спать, и не ради подарков, пусть они и приятные, но ради него, чтобы ему было хорошо, он просто золото же. Был. А потом оказалось, что жену бьет, дочь бьет — и до Мани достучался. Маня заявила, полиция домой пришла, а он жену с дочкой в курс не поставил. И, несмотря на Великий пост, выгнали его, а квартира и не его вовсе, а машина и не на него оформлена, а работал он замом, а главным был дядя жены, а и выгнали его, а он приди и избежь Маню за все это. Так и уехал в наручниках, потому что правоохранительные органы работают у нас в Рязани, и тут вот недалеко отдел, ходила благодарить, да там и встретила, не то чтобы красивый, но жесткость такая есть в глазах, шрам как у Жоффрея, знаешь, в плен берет сразу, ничего не планировала, конечно, но само завертелось, и вот вопрос, чем кончится.

Расплатились и ушли.

Фотография, которая так и не стала постом: маленькая дверка, покрашенная в один — лимонный — цвет со стеной. Какой бы текст к ней? «У всех кафе есть парадный вход. У моего кафе есть вход в чужие жизни». Первый раз, пятнадцать недель назад, Кристина поднялась по ступенькам на крыльцо под

вывеской, открыла дверь и оказалась в квадратном коридорчике размером с ее с Владиком комнату. Шагов десять — и зашла в кафе, задержав дыхание. Выдохнуть не успела — подлетела официантка, затараторила «местнет-местнет», добавила «туалеттолькодлягостей», закончила шепотом «ты хоть кроссовки помой». В коридорчике Кристина топнула, помахала руками, пнула по стене — и обнаружила комнату для уборщиц. Дверь запиралась на маленький шпингалет, который впивался в пол. В темной узкой камерке стояли швабры, два ведра, вдоль стен шли трубы с краниками и счетчиками воды. А в дальнем конце тонкой полоской сочился свет. Кристина пробралась и посмотрела: щель вела прямоком в кафе, за тонкой перегородкой стоял столик для двоих.

Тут и сидели Маня и Маша, а потом и Варвара, которую тут же, за тарелкой солянки, бросил муж, и майор Прокопыч, который избил цыган в отделении казацким кнутом, и бизнесмен, у которого отбирали его магазин автозапчастей, потому что какие-то слоновские продали его долг каким-то айрапетовским. Говорили Вари, Светы, вернулась Маня, а за ней Люси, Макары, Вадики, Эдуарды, нытики, сопелки, свиньи, рычащие, хохотуны, молчуны. Всем Кристина находила место в трех толстых тетрадках. Рассказы были круче инстаграма*, Кристина даже перестала выкладывать новые посты. Только однажды решила поделиться в сторис инструкцией:

* Деятельность Meta Platforms Inc. (в том числе по реализации соцсетей Facebook и Instagram) запрещена в Российской Федерации как экстремистская.

1. Учись слушать и будешь вознаграждена.
2. Люби чужие истории, твори свою собственную.
3. Будь незаметной, чтобы быть везде.
4. Хочешь мира в семье — будь дома до десяти.

После десяти по местным новостям показали девочку из ее дома. Вика жила в первом подъезде, в последнее время они почти не общались: та начала краситься, примерять броские наряды, уезжать на переднем сиденье «бэж». Кристина решила, что летом Вике исполнилось сразу на три года больше, чем ей. Но под фотографией на экране стоял тот же возраст: оказывается, они всё же ровесницы. Вика пропала два дня назад. Была одета... Черная блестящая юбка дольче габбана, договорила Кристина. Этой юбке все девочки двора завидовали. В ней легко можно было пойти в кафе в угловом доме. Вика, до которой матери Кристины никогда не было дела, вдруг стала кандалами. «Сегодня чтобы после школы сидела дома! Сегодня вечером никуда! Открой дверь, и чтобы я тебя видела!» Кристина, делая вид, что готовится к тесту по истории, перечитала последнюю тетрадь. Окунулась в жизнь, где, наверное, застряла Вика. Женатые богатые мужчины приглашали ее за границу, вот она и уехала, не сказав родителям. Вернется в новых блестящих юбках, на очень высоких каблуках. Или в том самом отделе милиции она встретила майора, у которого шрам на лице, и он поспешил назвать ее Анжеликой. Кристина закрыла тетрадь и пошла спать.

Через неделю мать отправили в командировку в Москву на три дня. Кристина в первый же вечер свободы

выпорхнула из дома, кивнула деревьям, прислушалась к знакомому скрипу снега, вдохнула морозную гарь ленкомсомоловских дворов. Привычно остановилась в нескольких метрах от входа; никто из прохожих не собирался внутрь кафе, не приближался пьяной походкой. Она вошла, тщательно стряхнула снег с кроссовок, поднялась, глянула сквозь стекло на полумрак, в котором лениво шел к столику официант, кивнула сама себе, повернулась к стене, дернула незаметную дверь, скользнула, закрыла, выдохнула и сняла куртку.

Столик был уже занят, бурчали тихие голоса. Баритон — так называется этот голос? Или бас? Бу-бу-бу. Она приложила ухо к трещине в фанерной перегородке. Правой рукой сжала ручку: она умела писать в темноте, автоматом.

Вот и думай. Вот и хер. Она как тряпка.

(Говорил баритон, он же бас — Кристина еще не разобралась. Отвечал другой, повыше, он почти что ныл.)

А что тут думать. А что ты начинаешь. Тряпка — так выброси. Тряпки что. Тряпки моют, если они целые. И оставляют на потом. А если тряпка совсем — то что? То всё.

Водки попрошу еще.

А давай. Триста?

Ну. Человечек! Триста. Да, триста.

У тебя паспорт ее? (Тот, что поднывал, вдруг стал говорить четче, будто разом протрезвел.) Не выкинул?

Все у меня. И паспорт, и серьги, и юбка эта, блядь, блестящая, повелся же, блядь, на эту юбку. Паспорт открываю — а она его получила, блядь, этим летом. Откуда ж я знал.

Да хватит, уймись, что ты. Не ты первый, как говорится. Прошли через многое. Все в смысле. И я, и ты. Ну ты давай. Надо решать.

Стукнули по столу рюмки. Кристина перестала записывать. Около труб, всегда теплых, ее трясло от холода.

Я ж на память, вот. Смотри.

Ты чё, совсем? Это что?

Сам же видишь. На память. Не смог. Оставил.

Так, в башке уже не укладывается. Ты ее в четвертном на хате оставил? Или в подвале?

На хате, которая на пятом. Помнишь, где дверь странная такая, как будто облевали. По подвалам в последнее время рыщут. Бомжа поймал недавно. Прикинь.

Так Прокопыч же замок вешал.

Малолетки срывают. То с клеем, то с бабой. Надоело это все, надоело, сил никаких уже, никаких. И ты понимаешь, я же открыл. Себя ей открыл, сердце открыл, понимаешь. Кто ж знал.

Кто ж знал. А что думаешь теперь?

Я хочу с ней еще побыть. День. Два. Не знаю. Зацепила она. Руки чё-то трясутся. Вот же.

Ты ладно, ладно. Ну чего ты нагоняешь? Никуда она не убежит, побудешь. Давай, допивай, пей, пей. Давай.

Рюмки звякнули, ударили по столу. Кристина почувствовала, что сердце не бьется, тронула грудь — где-то все же стучит.

Пойдем пройдемся.

Они засобирались.

Кристина сунула тетрадку в карман своего пуховика. Натянула шапку. «Четвертной» — дом номер двадцать пять. Пятиэтажная панелька в ста метрах отсюда. Зачем она об этом? Она же не пойдет? Что? Правда?

Она хотела выйти раньше этих двоих: пока им счет будут нести, пока они расплатятся, оденутся, она уже исчезнет. Сердце наконец появилось и барабаном приказывало: да-вай, да-вай. Кристина осторожно открыла изнутри дверь. Никого, отлично. Она шагнула вперед, и коридор вдруг дернул ее обратно, оглянулась — зацепилась курткой за маленький кран на трубе, — потянулась обратно, руки вдруг залетали, не желая слушаться, пуховик начал шуршать свое: хи-хи, хи-хи, сердце: ай-ай, ай-ай, нога вдруг поехала, она упала. Слезы. Больно. Кружит потолок. Кристина лежала и сопела носом.

Над ней заныл голос.

Осторожней тут, аллё! Пьяная, что ли?

Баритон или бас тут же.

Я не понял, ты глянь. Это что вообще.

Темное тело переступило ее и исчезло в каморке. Через миг вернулось. Шепот. Не смогла разобрать.

Крюком подцепили шею, рванули вверх.

Ты на хера тут сидела? Ты говорить можешь?

Было легко молчать, потому что Кристина вдруг исчезла, превратилась в маленького мышонка, который спрятался где-то за ее глазами. На них пелена, расфокус, не понять ни внешности, ни особых примет — просто два силуэта напротив, темные — а вы поищите зимой в Рязани светлых.

А ну иди, братан, иди за столик вернись и поговори там. А ты сюда иди, стой тут, я держу тебя, поняла? Рыпнешься — я тебя пристегну к трубе, поняла? Рыпнешься — пристегиваю, поняла? Алло, бля!

Кристина кивнула.

Ну точно, блядь, я слышу все, на хуй, как под столом, блядь, сижу. И она слышала. Ну блядь.

Ты слышала?

Кристина покачала головой из стороны в сторону.

Не ври!

Выволокли на улицу, оплели руками, зажали между собой, ведут. Она не дышала, не смотрела, только слушала. В ее голове оказалось два водоворота, сквозь которые внутри засасывало все звуки улицы:

мрак-мрак-мрак-мрак — так их ноги наступали на снег

страш-но-страш-но — так изо рта слева вырывался перегар

... — так молчал справа.

Двор, фонарь, несуразная маковка снега на урне у подъезда. Скрип петель, бетон ступенек, шарк, дых, липко, немота. Квартира, дверь, звенят ключи. Они внутри.

Ее бережно опустили на пол. Темноту рассеивали один за другим дверные проемы.

Она лежала рядом с рулоном пленки, и на полу было много-много трещинок, как будто линолеум постоянно резали. Из-за какой-то двери послышался девичий стон.

Двое перестали волновать пол тяжелыми скрипами.

Знает, не знает, ты не видишь, она больная. Она ничего никому, зачем мы ее сюда вообще. Она ненормальная какая-то. Она ку-ку. Она не аллё. Ты чё? Отпускай ее.

Ты успокоишься или нет. Ссышь теперь? Что ж ты раньше не зассал? Эту тоже на дозняк посадишь? Казанова. Синяя Борода, бля. Я за тебя выгребать не буду. И больной — это ты. У нее то ли ДЦП, то ли что — ну переклиненная. Они при этом разговаривают, дебил. Она все расскажет. Она ж не немая.

Кристина улыбнулась.

Ты посмотри на ее тетрадь — бля, тут страниц сто такими каракулями, ни одной знакомой буквы. Нормальные так не пишут. Больная. Отпусти ты ее.

Куда теперь отпустить-то. А с этой что будешь делать? Сколько еще герыча в нее вкатишь? Отпустить не можешь, вальнуть не можешь. Ты наворотил, наворотил просто! И откуда ты в моей жизни взялся, дебила кусок! Что ты хватаешь, что ты схватил, успокойся, сука!

Тупой. Тупой, чё я тебя слушаю, вот чё, вот на, вот зачем.

Ты чё это! Чё...

На!

На.

На.

На.

Жахнуло так, что в ушах звон, и кажется, что все подпрыгнуло, и завоняло каким-то странным дымом.

Потом очень тихо — наверное, она еще и оглохла. Врачи ведь говорили, что есть риск потери слуха, и вот что — вот теперь?

Дальше шум. Слава богу, я слышу. Нашла чему радоваться. Дальше дышал только один.

Шаги липкие, шаги к ней.

Поднял. Запах странный. Зверь.

— Тебе это. — Он что-то засунул ей в карман. — Отдай в отделении. Пусть найдут. Жива она. Приведешь. Поняла? Иди в полицию, дура. Поняла?

Потом раскрыл дверь и вытолкал в подъезд. Она обернулась. Он стоял в проеме — высокий, статный, со шрамом на лице. Плечи обвивает кобура. Достал пистолет, кивнул ей. Поднес ствол к своей голове. Раздался самый громкий звук в ее жизни.

Кристина шла по улице, и снег под ногами молчал, и сердце молчало. Она сунула руку в карман, вытащила под свет фонаря салфетку — такие лежали в кафе на столах. Внутри был палец с колечком.

Она упала. Заторопились прохожие. Отряхивали, трогали, теплые. Она рукой показала: все нормально.

— Ты что, опять? — спросил у нее мужик, которого она смутно помнила. Только борода была черная, а сейчас наполовину седая. — Ну что ты, немая, что ли?

Она кивнула.

— А ты меня слышишь?

Она покачала головой. Звуков больше не было. Все пропало.

КАЖЕТСЯ, НАДО ПОГОВОРИТЬ

БАБУШКА

Коля норовит ему налить, и она останавливает руку мужа — не быстро и не медленно. Уже хорош, улыбка потеплела. Ему — их внуку — рано пить и вообще лучше не знать, что это такое, неужели это так сложно, каждый раз при гостях эта немая сцена, в которой роли давно отрепетированы: Коля твердо ставит маленький бокальчик у тарелки внука, берется за винную бутылку и замирает на мгновение, ждет, словно это единственная секунда, когда ее рука прикасается к его. Она его останавливает, он ей начинает нутотыладно-теберить, а она молча и властно ведет головой вправо-влево. И потом еще раз — вправо-влево. Бокальчик остается пустым, на его гранях свет люстры, отражения салатов. Заливное подала минуту назад. Мясо по-французски уже дает о себе знать из духовки. Дима (так он просит себя называть), а вообще Диомид (так что лучше пусть будет Дима) — парень не дурак, ее

внук, ее единственный внук, и единственное, что осталось от дочери, — смотрит на тарелку вниз, долго. Его большую голову не может удержать шея. Поэтому он часто упирает взгляд в землю. Дима ни разу не спросил, где его мать, ни разу за эти три года. Но она, его бабушка, подозревает, что однажды спросит, и пока не знает, что ответить про бесконечные поиски, в которые тайно бросился Коля, ее муж, дед Димы, отец их дочери, бестолковой алкоголички, которая бросила единственного сына и умотала, видимо, с мужиком, очередным театральным пропойцей, неведомо куда.

Ей так жалко внука.

Ей не жалко дочь. Хотя, листая альбом, где дочь маленькая и любовно льнет к маме с папой, эта ее мама может и поплакать. В какой момент все это случается? В какой такой сволочной момент в жизни крохотная нежная девочка вырастает в пьяную шлюху?

Ей жалко мужа. Коля очень тяжело переживает. Поэтому ему она прощает теплую улыбку после коньяка. К тому же он военный, а военные пьют, она это хорошо усвоила.

И надо бы подумать про себя, жалко ли ей себя, но сейчас мясо по-французски сгорит, а такого стыда перед гостями не пережить. Идет на кухню, сдерживая каждый шаг, чтобы никто не подумал, что она бежит.

Д е д у ш к а

Обход.

Закреть входную дверь. Повернуть ключ, подергать ручку.

Выглянуть в окно: цветы на месте, в палисаднике.

Кто-то повадился воровать — на букеты, на продажу, видать. Весь дом возмущался. Даже на внука думали. Идиоты. Воруют бомжи какие-нибудь, поймать при желании — раз плюнуть.

Туалет.

Зубы.

Зеркало.

Капли воды на щеках. Когда он плакал в последний раз? Да вот же, в прошлую пятницу.

Таблетки.

Пижама.

Улечься, и непонятно, что скрипит — его тело или кровать.

Д и м а

Гости разошлись, свет выключили, щель под дверью черна, ничего не слышно. Его комната — бывшая комната прабабушки, и он, укладываясь спать на раздвижной диван, постоянно думает: а прабабушка умерла здесь? На этом диване? В комнате есть еще странное спальное место, которое дедушка называет тахтой. Кажется, он привез ее из Германии, где служил несколько лет. У дедушки полно трофейных сокровищ, но они заперты в шкафу в их с бабушкой спальне. Или здесь? Здесь ведь тоже шкаф — встроенный, в ширину всей комнаты, вдоль (или вместо) стены, куда приходится смотреть, когда не можешь заснуть. Двери белые, покрашены грубой краской. Потому что застывшие капли можно разглядеть, вот почему грубой. Или правильно говорить «грубо покрашены»? Он поступил на журфак, а путается в мыслях,

стыд, позор, изгнание, анафема, забвение. Журналист, пожалуй, крутое звание для человека, который всю жизнь был незаметной тенью в Туле, а потом тут, в Москве, в старших классах школы. Интересно, журналисты пишут стихи? Рэп, например.

Белые двери, белый потолок,

Извините, звери, но я смог, я смог.

Я смог, который укутал город.

Я смог выжить, хотя был распорот.

Бутылки бабушка уносила на кухню, затыкая бумажками. Выпить ему не дали, а он может и сам пойти — и взять. Бунт на корабле. Ладно, можно и смелее мыслить, мысли — они же только для меня, и только я их слышу, так что — бунт на ёбаном корабле.

БАБУШКА

Она не спала и слышала, как прошуршали шаги. В туалет? Дверь практически напротив, там два шага, а шурш-шурш-шурш-шурш — это уже кухня. Пить хочет? Жирное мясо было. Заболел живот? Нужны таблетки? Надо встать помочь. Коля тяжело дышал рядом; если его разбудить, может ходить до утра, держась за сердце. И так его ночные подъемы, разговоры с этими дрянными людьми по телефону выматывали. Рука стала чаще трястись. Ей было жалко мужа. Поэтому она решила не вставать. Слушать.

И поняла.

Дима пьет вино.

Сердце взгромоздилось в горле и принялось долбить тревогу.

Гены, наследственность, алкоголизм, побег, несчастье, жизнь до и жизнь после.

Она, наверное, должна была встать, открыть дверь, наорать на внука, всыпать ему. Но она никогда этого не делала, никогда. Она всегда лежала и смотрела в темноту, слушала и молчала, потому что так было заведено, с самой ее деревни, с самого ее отца, который их бросил, со всех постелей, где она была с малых лет, — лежать и слушать, лежать и молчать, не произносить ни слова, ни звука. Хоронить все в себе. Открывать этот страшный огромный шкаф, запихивать внутрь тревоги, кошмары, запираить и прятать ключ.

На следующий день, пока никого не было дома, она вызвала слесаря, дала денег, довольно много, больше, чем нужно, и он за пару часов взрезал замки — в Димину дверь, в двери двух кухонных шкафов и в дверь шкафа у них в спальне. Это был самый отчаянный и смелый поступок в ее жизни.

Дедушка. Бабушка. Дима

— Опять цветы украли из палисадника.

— Марья Пална, ну украли и украли.

— Третий раз уже. Все пионы срезали.

— Я могу посторожить.

— Сиди уже, сторож. И так не спишь ночами. Старый ты уже за воришками бегать. Бог их накажет.

— Да поди вон к рынку выйди, сидят там с нашими цветами.

— Я так пионы эти любила.

— Давай в милицию позвоню, там Толькин сын разберется.

— Нечего сор из избы выносить. Бог есть, бог накажет. За решетку попадут. Не щас, так завтра.

— Ба, кстати, а что у нас за замки везде появились?

— Кашу тебе пшеничную или овсяную?

— Ба, что это за замки?

— Завтракать чем будешь завтра?

— Дед, спроси ты.

— Тебя спросили, ты чем будешь завтракать.

— Ну дед. Ну ба. Ладно.

— Чего голову опять повесил? Смотри перед собой, хватит полы изучать.

— Ба.

— Что?

— Пшеничную.

— Вот и ладно. А маленьким был, не любил пшенику. Помнишь, Коль?

— А то! Попробовал ложку и серьезно так: «Гов-но!»

Все засмеялись.

Ди ма

Лампа наклонила голову, в желтом луче кружатся пылинки. Она каждый день лазает с мокрой тряпкой по квартире, а все равно в воздухе летает пыль.

Они его закрыли.

Реально.

Спросили, ходил ли он в туалет, принесли этот страшный стариковский кувшин, кружку и закрыли.

А если захочет ночью? Постеснялся спросить. Можно посрать в окно, первый этаж же. Будет даже весело. Он напряг живот. Ссать вообще не хотелось.

Удивительно, как же он так легко согласился, а они и не сказали ему, за что он наказан, хотя, конечно, он понимал, за что: бабушка наверняка обнаружила, что он всосал вина той ночью, потому и устроила все эти замки. Ёбанные замки! Но зачем его закрывать в комнате, если можно вино спрятать в шкаф, который запирается? Может, они не хотели, чтобы он узнал? Ведь иногда он не мог уснуть и слышал, как дед с кем-то говорит своим тихим басом, который невозможно превратить в шепот. Бабушка ему не отвечала, значит, не с ней. Сам с собой? Молился вслух? Да ну, дед не такой. Вроде. Черт. Телефон, по телефону, в телефон, вот что, он кому-то звонит — или ему кто-то. Что-то дернулось внутри. Вдруг звонит она. Ну точно же она, точно. Ей бесконечно стыдно говорить с ним напрямую, и она звонит дедушке — узнать, как внучок, ну то есть сын, ее сын, интересно, а она сама как там, как там она, как там сама она, как она там, как, как, как?

Как ты, мама?

Избавилась от хлама?

От Тулы и театра,

От сына и...

Он не мог придумать подходящую рифму. В голову лезло «от сына и ондатры», но такого зверька у них не было. Попугай был, простудился и сдох, когда после взрослых посиделок на кухне забыли закрыть окно, а была зима, а попугай как-никак теплолюбивое существо... Интересно, а я ондатра? Может, я тоже питомец, которого просто забыли или который настолько надоел, что без него гораздо лучше?

И Дима решил, что обязан поговорить с мамой в один из ее ночных звонков деду. Появиться

из ниоткуда, резко и неожиданно выхватить трубку и сказать хотя бы простое «мама?». Или ничего не говорить, а услышать обрывок фразы. Голос, который, если честно, забыл. И как вообще можно помнить голоса, обычные голоса, без изъяснов и характерных особенностей? Выскочить из комнаты хрен получится. Он же заперт.

И тогда он придумал, как оказаться по ту сторону двери.

БАБУШКА

Такие, как ее дочь, точь-в-точь такие, лазают по ночам, срезают цветы в палисаднике. Четвертый раз уже. Провалиться им пропадом. Словно из дома душу вынесли.

Когда вот говорят «дом — полная чаша», это про что, про еду? В очередную ночь уставилась в потолок. И думала, что гнездо должно быть полным, что ошибкой было отпустить ее — жила бы под боком, под прищмотром, запирали бы шкафы, следили бы за поведением. Всегда воспитывали не строго, всегда любили, всегда баловали, вот и добаловали. Коля на нее руку не поднял ни разу. Так что Диму нельзя отпускать. Пусть учится, пусть работает, пусть женится, приводит жену сюда и тут и живет. Те, кому с детьми повезло, они-то и талдычат «надо отпускать, надо отпускать». Нельзя отпускать. Надо, чтобы дом был полная чаша. Не про еду, конечно. Про людей. Квартира трехкомнатная, поместимся. Он же сорвется, поедет искать мать, не найдет, или того хуже — найдет. Будет пить. С горя. С горя пьют размашисто, как головой

о стенку бьются. Она помнит таких мужичков в деревне. В глазах — искры, а за ними — пустота. И искорки эти шальные. Словно там, в тяжелой косматой голове, все решено — допить до изнеможения, перестать чувствовать, да и жить перестать тоже. Вот и дочь так. Вот и дочь. Правильно, наверное, что ушла. Потянула бы мальчишку за собой.

Коля перевернулся на другой бок, простонал. Надо заставить его пойти к тому врачу. Он чаще стал жаловаться на живот. Может, врач запретит совсем пить. И нервничать. И поиски эти закончатся.

Надо расписание сделать. Чтобы Дима после занятий в институте немедленно домой шел. Чтобы не было времени на стакан. Потом спасибо скажет. И никаких общежитий, знает она, что там да как, мало ли что он хотел поселиться и жить самостоятельно, не нужно этого. И никакой съемной комнаты. Давеча признался, что копит на комнату. На два месяца, говорит, уже есть. А хотелось бы на полгода, чтобы запас был, и работать он еще собрался, после занятий. Сам. Страшное какое слово — «сам». Сначала сам работать. Покупать продукты. Сам жить. Сам выбирать невесту. Сам спиваться. Сам выносить вещи из квартиры, воровать золотые украшения. Сам пропадать. Сам исчезать. Сам сдохнуть.

Надо найти эти деньги, пока все можно остановить. Забрать и убрать под замок. Дима, конечно, спросит, как так. А вот так. Сделано, ответит она, не лезь, попросишь, я всегда дам, у меня оно надежнее будет, а то ты растринькаешь. И он поблагодарит ее. Вот такой разговор будет. Она заснула, беседа по душам с внуком в голове звучала как сказка.